

Евгений Иванович Замятин

Африка



Евгений Иванович Замятин

Африка

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2827685

Аннотация

«Как всегда, на взморье – к пароходу – с берега побежали карбаса. Чего-нибудь да привез пароход: мучицы, сольцы, сахарку. На море бегали беляки, карбаса ходили вниз-вверх. Тарахтела лебедка, травила ящики вниз, на карбаса...»

Содержание

1	4
2	8
3	14
4	18

Евгений Иванович Замятин Африка

1

Как всегда, на взморье – к пароходу – с берега побежали карбаса. Чего-нибудь да привез пароход: мушцы, сольцы, сахарку.

На море бегали беляки, карбаса ходили вниз-вверх. Тарахтела лебедка, травила ящики вниз, на карбаса.

– Все, что ли, а? – и уж хотели было поморы обратно вернуть, но тут вышло происшествие необычайное: с парохода по лесенке стали спускаться господа какие-то.

– Это... господам-то... куды же? – опешили карбаса.

– Но-о, глазами захопал! Не видишь, в Кереметь к вам? Принимай живей. Ерупи-итка!

Принимать пришлось Федору Волкову. Было их двое господ да одна девушка ихняя. И то разговаривают все по-нашему, по-нашему, а то примутся еще по-какому-то. Подивился Федор Волков.

– Вы, господа, сами-то родом откулева же будете?

А господа веселые. Переусмехнулись между собой, да и говорит, который бритый:

– Мы-то? – подмигнул, – из Африки мы.

– Из А-африки? Да неуж и по-нашему там говорят?

– Там, брат, на всех языках говорят...

А девушка ихняя засмеялась. Чему засмеялась – неведомо, а только – хорошо засмеялась и хорошо на Федора Волкова поглядела: на плечи его страшные; на голову-колгушку, по-ребячьи стриженную; на маленькие глазки нерпичьи.

Показал Федор Волков господам приезжим отводную квартиру: держал нынче квартиру Пимен, двоеданского начетчика племяш. Хорошая изба была, чистая.

Сел Федор Волков на камушке у ворот. В тишине сумерной было явственно слышно, как они там в избе разговаривали, то по-нашему, то по-своему опять. А потом заиграла девушка ихняя песню. Да такую какую-то, что у Федора инда в груди затеснило, вот какая грусть, а об чем – неведомо. И дивно было: девушка, будто, веселая, а этак поет?

Век бы ее слушал, да поздно уж: хочешь-не-хочешь, время – спать.

Ночь светлая, майская. По-настоящему не садилось солнце, а так только принагнется, по морю по-

плывет – и все море распишет золотыми выкружками, алыми закомаринами, лазоревыми лясами.

Не то во сне снилось Федору Волкову, не то впрямь это было: будто, опять пела девушка ихняя, а он, будто, встал, оделся и по улице пошел: поглядеть, где же это она поет-то ночью?

Идет мимо Ильдиного камня, а на камне белая гага спит – не шелохнется, спит, – а глаза открыты, и все, белое, спит с глазами открытыми: улицы изб явственных глазу до сучка последнего; вода в лещинках меж камней; на камне – белая гага. И страшно ступить погромче: снимется белая гага, совьется – улетит белая ночь, умолкнет девушка петь.

И опять – не то сон, не то явь, а только будто окно – темное, она – белая в окне-то и, будто, шепотом, шепотом так Федору Волкову:

– Они спать полегли. А я не могу спать, – как же спать? А ты, милый, пришел, вот спасибо тебе...

И еще – будто из окна нагнулась, обхватила Федора Волкова голову – и к себе прижала. А руки у ней, и грудь у ней – так пахнули – только во сне так и может присниться.

Днем возил Федор Волков господ из Африки. На семгу ярус закидывали, лежали на ярусе два часа. И все глядел Федор на девушку ихнюю и глазами пытал: ночью – во сне ли она приснилась или...

К вечеру вернулся обратно пароход, стал на взморье и загудел. И опять Федору же вышло везти к пароходу гостей приезжих.

– Ну, Федор Волков, прощай. В Африку-то приезжай к нам... – и засмеялись все трое.

И взяло тут сомненье Федора Волкова: не потешаются ли они над ним с Африкой с этой? Мотнул стриженной колгушкой своей:

– А ну-ко-сь ей нету, Африки-то? Приедешь – ей нету? а то бы я приехал бы... – и глядел на девушку, все пытал: приснилось ночью тогда – или...

– Нет, Федор Волков, вы им не верьте, они такие уж... Вы ко мне приезжайте. Уж там доехать – доедете, только выехать. Ну, я буду вас ждать.

Нагнулся в низком поклоне Федор Волков и показалось: от руки – тот самый, тот самый дух, который во сне...

И поверил в Африку Федор Волков.

– Ну, ин ладно, приеду. Мое слово – безоблыжное.

2

У Пимена, племяша двоеданского, собаки не жили: годок поживет какая – а там, глядишь, и сбежала, а то и подохла. И шел слушок: оттого у Пимена собаки не жили, что уж больно он был человек уедливый. Как ночь так Пимен к конуре к собачьей:

– Ты у меня, мерзавка, гляди, спать не смей. Даром, что ли, я тебя кормлю-то? Хлеба одного лопаешь в неделю на семь копеек...

И пойдет, пойдет вычитывать: где же тут вытерпеть – собака не вытерпит.

Мудрено ли, что, идучи ночью одной весенней мимо двоеданской избы, услышал Федор Волков чей-то жалобный хлип. Ближе подошел: окно открыто, то самое, и в окно – слезами облитая, горькая Яуста, старшая Пименова.

– Ты чего, Яуста, эка, а?

– Отец со свету сжил, заел, ни днем продохнуть, ни ночью...

Да полно, Яуста ли это? У Яусты волосы – как рожь, а у этой – как вода морская, русальи, зеленые. Яуста – румяная, ражая, а эта – бледная с голубью, горькая. Или месяц весенний заневодил зелено-серебряной сетью ту, дневную?

Как тогда – во сне или наяву – опять стоял Федор Волков у окна избы двоеданской, утешал горькую девушку. Нет того слаще, как девичьи слезы унять, увидеть улыбку, осветленную слезами, как лист – дождем. Нет девичьих рук нежнее, только что утиравших глаза – еще мокрых от слез.

– Яуста, как же это я никогда не видал-то тебя?

– Ну, теперь – гляди. Хочешь – тут вот – хочешь, гляди...

Пимен, племяш двоеданский – ростик у маленького, тощий: такие всегда бывают зудливые, неотвязные. Каждый вечер Пимен пилил Яусту, свою старшую, может, только за то и пилил, что в девках она засиделась, и младших двух задерживала. Каждую ночь Федор Волков утешал горькую, с зелеными волосами русальими, Яусту. Каждую ночь месяц весенний становился все тоньше: уходила весна, девушка застенчивая; аукало за лесом лето, с ночами голыми, белыми, с бесстыдным солнцем ночным.

Когда шли от венца Федор Волков с Яустой, старшей Пименовой, еще висел последний тоненький месяц, еще звенел чуть слышным серебряным колокольцем. Заперли молодых в прибраторой подклети; сядя на постель, Федор Волков сказал по обычаю по старому:

– Ну, разобуй меня, молодая жена.

Нагнулась Яуста, горькая, русальная, покорно сапог разобула Федору Волкову. Так покорно, что другого не дал ей снять Федор – сам стал ласково снимать с нее подвенечный обряд...

Еще спала Яуста, а Федор Волков, вскинул ружье, шел уж к лесу на Мышь-наволоку. Играло в росе розовое солнце. Поцелуйно чмокала мокрая земля под ногами. В тонкую, однотонную дудку свистел рябчик – подругу звал. И так песней занялся, что Федора Волкова вплотную подпустил: тут только опомнился, фыркнул, перелетел на соседнюю сосну – и опять зашвистел. Улыбнулся Федор Волков, от плеча отнял ружье – и пошел домой.

У бобыля в избе – откуда порядку быть? Пахнет псиной – вчера только первую ночь не спал с Федором в избе Ятошка лягавый; по углам – пауки; сору – о, господи, сколько! Яуста вымыла все, оскоблила пол добела, женка хозяйственная выйдет из ней – хлопотушей ходила по избе.

– Здравствуй, Яуста, ах, ты, хозяйюшка ты моя... – бежал к Яусте Федор Волков: обнял ее поскорее, какая она теперь – после ночи? Бежал по избе – по скобленому белому полу...

– Да ты что, сбесился – не вытерев ноги прешьто? – заголосила Яуста в голос. – Этак за тобой, беспелюхой, разве напритираисси?

Со всего бега стал Федор Волков, как чомором по-мраченный. Опомнилась Яуста, подошла к Федору, губы протянула, а на отлете – рука с ветошкой.

Молча отстранился Федор – и пошел за порог: сапоги вытирать.

С того дня опять Федор Волков стал ходить молчалив. Что ни вечер – увидишь его на угоре у Ильдиного камня: самого не видно, только одна голова – стриженная колгушка – над светлым морем маячит.

– Чего, Федор, выглядываешь? Аль гостей каких ждешь иззаморских?

Глянет Федор глазами своими нерпячьими, необидными и головой колгушкой мотнет. А к чему мотнет – да ли, нет ли – неведомо.

Стал ночами пропадать Федор Волков. А ночи – страшные, зрячие: помер человек – а глаза открыты, глядят и все видят, чего живым видеть нелеть. Металась Яуста одна в светлой подклети, пустой от неусыпного солнца.

– Да где же это ты, лешебойник, ходисси... – днем голосила Яуста. – Да и чем же это я опризорилась, где мои глазыньки были, когда я замуж шла за тебя?

Федор Волков молчал: только глазами необидными немовал что-то Яусте, а про что немовал – неведомо.

Должно быть, Яуста отцу пожалобилась: стал Пимен, племяш двоеданский, за Федором следом вить-

ся, как комар, и жиять его непрестанно:

– Ты как же это, Федор, с женой-то не влюбе живешь? Как ты с нею повенчан, то по закону божию – должен на ложе спать, а ты что ж это, а? – вился и вился Пимен.

Когда в церковке деревянной звонили к вечерне, выходил Пимен на двор, возле повозки бухался на колени и сладкогласно пел богу молитву вечернюю. Дождь ли, снег ли, – а уж Пимен возле водовозки пел обязательно. Тут от него и спасался Федор Волков – в лес, к Мышь-наволоку. Так, пока не пришла лютая осень, в лесах и коротал ночи, со своими снами с глазу на глаз.

Забелели беляки на море, задул ветер-полуночник. Налегнуло, нагнулось небо, бежали облака быстрым дымом, задевали о верх деревьев. Мгла засеялась, но разобрать – где небо, где море: никто уж теперь не приедет...

– Ну вот, Федор, стал и ты дома сидеть, слава богу. Остепеняйся-ка помаленьку, с господом... – ласковым комаром пел Пимен, впился в самое ухо Федору Волкову.

Но был нынче Федор необычен: грузен сидел, и глаза были красные, кровью налитые, вином несло – и все ухмылялся.

– ...Иди-ко, иди, Федорушко, с женою-то, а я дверь

замкну – у двери посижу. Ну, давай – поцелуемся, Федор, ну давай, ми-ло-ой...

Потянул Пимен свое рыльце комариное, медленно Федор к нему потянулся – да перед самым носом у Пимена – хоп! – зубами как щелкнет. И еще бы вот столько – зацепил бы Пименов нос.

Отскочил Пимен в угол, руками замахал, а Федор Волков гоготал во все горло – никто не слышал такого его смеха:

– Ага-га, душа комариная? Ага-га, забоялся? Вот я – вот я-...

И споткнулся на чем-то, заплакал горестно, положил на стол стриженую колгушку свою:

– Уеду... у-й-еду я от вас... Уеду-у...

– Куда ты уедешь, рвань коришневая, живоглот ты, куда ты уедешь, пропойца горькая? Уж лучше молчал бы...

3

Покойный Федора Волкова отец китобоем плавал и был запивоха престрашный: месяца пил. В пьяном виде была у него повадка такая: плавать. В лужу, в проталину, в снеги – ухнет, куда попало, и ну – руками, ногами болтать, будто плавает.

И вот ведь чудно: оказалась повадка отцовская и у Федора Волкова. Заперли его в теремок, наверх, зиму уж это было, а он – господи благослови – крестным знаменем себя осенил да головой сквозь окошко нырнул – прямо вниз, в сугроб. В том сугробе целую ночь и проплавал.

На утро подняли: еле живехонек. Отнесли в баньку: в избу ни за что не хотел. В этой баньке и пролежал Федор Волков всю зиму. Только к весне на ноги встал, да и то с сердцем недоделка какая-то осталась: иной раз подкотится под сердце – только ищет Федор за что бы рукой ухватиться. Ну, да это пускай: только доехать до Африки, там уж пойдет по-новому.

После всенощной преполовенской подошел Федор Волков к батюшке, к отцу Селиверсту:

– Поспросить бы мне вас, батюшка, надо об деле об одном.

Отец Селиверст – старенький, весь усох уж, личи-

ко В кулачок, и все больше спал. К чаю ему подавали большую чашку: помакает он булку в чай, выпьет – да и опрокинет чашку, чтобы все крошки собрать. Чашкой-то прикроется этак, да и похрапывает себе потихоньку.

Присели с Федором Волковым на камушке возле ограды.

– Ну, что, дитенок, что скажешь, как тебя звать-то, забыл?

– Федором. А есть у меня, батюшка, желание душевное... То есть вот какое – одно слово... Хочу я – в Африку ехать, а как я неграмотный...

– В А-африку? В А... Ох, уморил ты меня, дитенок! В Афри... – ой, не могу!

Смеялся-смеялся отец Селиверст, от смеха устал, на камушке возле ограды – тут же и заснул. Так и не добился от него Федор Волков ни словечка. А уж больше не у кого было узнать, никого и не спрашивал.

На угоре у Ильдиного камня томился Федор Волков, на карбасе бегал ко взморью всякий пароход встречать. Пришла шкуна монастырская: на монастырские пожни народ везти. И Руфин, монах, какой за капитана у них ходил, так себе – к слову – сказал Федору Волкову:

– Намедни к Святому Носу ходили. Набирает, этта, Индрик народ, в океан бегут за китами.

И осенило тут Федора Волкова: Индрик-капитан, вот кто скажет про Африку-то. Господи боже мой, как же не скажет? С Индриком еще отец Федора Волкова в океан промышлять хаживал. И бывало, придет к отцу Индрик – рассказывать как начнет про океан Индейский: только слушай. Все позабыл – а вот одно Федору по сю пору запомнилось: бежит будто слон – и в трубу трубит серебряную, а уж что это за труба такая – бог весть.

Поехал Федор Волков в монастырь с Руфином, две недели потел там на пожнях, ярушником монастырским кормился. А через две недели – на Мурманском бежал уж к Святому Носу. Все у борта стоял, свесив стриженую колгушку свою над водой, и сам себе улыбался.

У Святого Носа капитан Индрик набирал народ побойчее – идти в океан. Как увидел Индрика, черную его бархатную шапочку и все лицо в волосах седых, как во мху, – так Федор Волков и вспомнил: никогда не улыбался Индрик, можно ему про все рассказать – не засмеется.

– Африка? Ну как же не быть-то! Есть Африка, и проехать туда очень просто... – нет, не шутил Индрик, глядел на Федора Волкова очень серьезно, и в седом мху волос, как ягода-голубень грустная, были его глаза.

– О? Есть? Ну, слава-те, господи. Вот слава-те, господи-то! – так Федор обрадовался, сейчас обхватил, бы вот Индрика да трижды бы с ним, как на Пасху, и похристосовался. Но были Индриковы глаза, как ягода-голубень, без улыбки, без блеска, и будто виде ли насквозь: сробел Федор Волков.

– Денег вот надо порядочно – тыща, а то и все полторы. На пароход-то доехать до Африки... – глядел Индрик серьезно. – Ты вот что, Федор, иди со мной за гарпунщика.

Вчера Федору Волкову показывали на шкуне самоедина: глазки – щелочки, курносенький, важный. Толковали про самоедина: мастак – гарпунами в китов стрелять, чистая находка.

– Ну, а как же самоедин-то? – заморгал Федор Волков.

– Самоедин – так, запасной будет. А со мной еще отец твой хаживал в гарпунщиках-то, как же тебя не взять?

Гарпунщику – деньги большие идут, дело известное: за каждого кита убитого, ни много – ни мало, шестьсот целковых. Крепился Федор Волков – крепился, да как и друг с радости загогочет лешим:

– Гы-гы-гы-гы-ы-ы!

Господи, да как же! Два кита – вот те и Африка.

4

Не было ни ночи, ни дня: стало солнце. В белой межени – между ночью и днем, в тихом туманном мороке бежали вперед, на север. Чуть шуршала вода у бортов, чуть колотилась – как сердце – машина в самом нутре шкуны. И только двое, Федор Волков да Индрик, знали, что с каждой минутой ближе далекая Африка.

Не наглядится на Индрика, не наслушается его Федор Волков, без Индрика – дыхнуть не может.

– Ну, какая же она, Африка-то? Ну, чего-нибудь еще расскажи.

Все на свете Индрик видал: должно быть, и то видал, чего живым видеть нелеть. Веселый – а глаза грустные – рассказывал Индрик про Африку.

Хлеб такой в Африке этой, что ни камни не надо ворочать, ни палы пускать, ни бить колочь земляную копорюгою: растет себе хлеб на деревьях, сам по себе, без призору, рви, коли надо. Слоны? А как же: садись по него – повезет, куда хочешь. Сам бежит, а сам в серебряную трубу играет, да так играет, что заслушаешься, и завезет он тебя в страны неведомые. А в тех странах цветы цветут – вот такие вот, в сажень. Раз нюхнуть – и не оторвешься: потуда нюхать будешь, покуда не помрешь, вот дух какой...

– Во! Погоди... – обрадовался Федор Волков, – вот и мне был сон... – и осекся: про сон про свой, про девушку ту – не мог даже Индрику рассказать.

Должно быть, недалеко была уж девушка та: все Федору Волкову снилась. Да во сне известно, ничего не находит: только руками она обовьет, как тогда, и не отрываться бы потуда, покуда не умрешь – а тут и окажется, что вовсе не девушка та – а дед Демьян. Тот самый дед Демьян, какой в суконной карпетке бутылку рома зятю в подарок вез. Да в пути раздавил и три дни прососал карпетку ромовую. Вот, будто, к карпетке к этой и приник Федор Волков и сосал: дрянь – а выплюнуть никак не может, беда!

Слава Богу, явь теперь лучше сна. Тишь, туман. Чуть шуршит вода у бортов. Колотится сердце в шкуне. Неведомо где – сквозь туман – солнце малиновое. Неведомо куда плывут сквозь туман. И сказывает Индрик сказку – не сказку, быль – не быль, про Африку – теперь уже близкую.

Однажды утречком дунул полуденник-ветер, распахнулся туман, на сто верст кругом видать. И углядели тут первого кита, вовсе рядышком. Был он смиренный какой-то и все со шкуной играл: повернется на спинку, белое брюхо покажет – нырь под шкуну, и уж слева близехонько бросает фонтан.

Как пушку навел, как запал спустил – и сам Федор

Волков не помнил: от страха, от радости – под сердце подкатилось, в глазах потемнело. И только тогда очнулся, когда на белом брюхе китовом копошились матросы, полосами кромсали сало.

– Ну, Федор, тебе бы еще одного так-то, а там и в Африку с богом, – говорил весело Индрик, а глаза грустные были, будто видали однажды, чего живым видеть нелеть: правду.

– Эх! – только поматывал Федор стриженной поребьячи колгушкой, только теплились свечкой богу необходимые его глазки: и верно, какие же тут найдешь слова?

И в межени белой опять плыли, неведомо где, плыли неделю, а может – и две, может – месяц, как угадать, когда времени нет, и непонятно: сон – или явь? Приметили одно: стало солнце приуσταвать, замигали короткие ночи.

А ночью – еще лучше Федору Волкову: и все стоял, и все стоял, свесив голову за борт, и все глядел в глубь зеленую. По ночам возле шкуны неслись стаи медуз: ударится которая в борт – и засветит, и побежит дальше цветком зелено-серебряным. Только бы нагнуться – не тот ли самый? – а она уж потухла, нету: приснилась...

Капитан Индрик – на мостике целый день. Из мха седого – глядят зорко глаза, на сто верст кругом.

– Гляди-и, Федор Волков, гляди-и, не зевай!

Кит. Последний. То впереди фонтан выстанет, то слева, то сзади: петли завязывал кит, кружил. Да Индрик на мостике – зоркий: куда кит – туда и шкуна.

– Гляди-и, Федор Волков, гляди-и...

«Ох, попаду. Ох, промахнусь...» – стоял на носу Федор у пушки у своей, под сердце подкатывалось, темнело в глазах.

Два дня за китом всугонь бежали. Привык бы зверь, подпустил бы ближе. Два дня стоял на носу Федор Волков, у пушки.

На третий, чуть ободняло, крикнул с мостика Индрик зычно:

– Ну-у, Федор, последний? Ну-ну, р-раз, два...

«Ох, попаду, ох...» – так сердце зашлось, такой чомор нашел, такая темень.

Выстрела и не слышал, а только сквозь темень увидел: натянулся канат гарпунный, пошел, задымился – и все жвытче пошел, пошел, пошел...

Попал. Африка. Приникнуть теперь – и не оторваться, покуда...

Кит вертанул быстро в бок. Чуть насевший в хвосте гарпун выскочил, канат ослабел, повис.

– Эка, эка! Леший сонный, ворон ему ловить. Промазал, туды-т-т-его... – бежали, сломя голову, на нос, где возле пушки лежал Федор Волков.

Спокойный, глаза – как ягода-голубень грустная, подошел Индрик.

– Ну, чего, чего? Не видите, что ли? Берись, да разом. Руку-то подыми у него, рука-то по земле волочится...

Есть Африка. Федор Волков доехал.